

Ник Дельвин

Жизненный цикл

Не забыли о плохом и не сказали о хорошем...



Ник Дельвин

**Жизненный цикл. Не забыли
о плохом и не сказали о хорошем...**

«Издательские решения»

Дельвин Н.

Жизненный цикл. Не забыли о плохом и не сказали о хорошем... /
Н. Дельвин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857464-1

Эта книга была написана в тяжелом бреде юноши за 38 дней, с перерывами на сон, еду и общение с плоскими стенами. В этой книге он стал светловолосым мальчиком, потерявшим родителей и первую детскую любовь из-за человеческой жестокости и тщеславия. В этой книге он прочувствовал боль ментальную и физическую. В этой книге он взглянул на мир полуслепыми глазами, но так и не смог увидеть в нем свет. В этой книге он единственный раз в жизни позволил себе быть самим собой...

ISBN 978-5-44-857464-1

© Дельвин Н.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая: Наступит ли конец? | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 22 |

Жизненный цикл Не забыли о плохом и не сказали о хорошем...

Ник Дельвин

© Ник Дельвин, 2017

ISBN 978-5-4485-7464-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я вижу...

Я вижу все, все что происходит в этом мире...

Что в реальности может изменить одна забытая всеми легенда?

Что может поменять в нашей судьбе история о посланнице небес, бабочке-белянке, одной из тысячи других?

Что может произойти, если один маленький мальчик вдруг возжелает обрушить на мир долгожданный конец света?

Любой скептик вам смело ответит, что ничего не изменится.

А что изменит в душе беззаботного ребенка глубокая тоска, произрастающая на семенах отчаяния?

Что станет с его судьбой, когда страх, боль и безумие заполнят людские сердца до краев и его сердце покроют ленты траура?

Что произойдет, когда короткая спичка в темном лесу, наконец, погаснет, как последний миг жизни для всего человечества?

Лишь один светловолосый мальчик расскажет вам конец этой трагичной истории об утраченном детстве, но даже он не сможет предположить, что изменится всё.

Сей труд – не книга, безнадежный черновик.

В очередной я раз встаю на те же грабли,

Здесь сладкий творчества порыв давно поник,

И жизнь все также обнажает злости сабли...

Часть первая: Наступит ли конец?

В определенный период времени, с середины июня по июль месяц в наших теплых краях появлялось очень много пестрых бабочек, беззащитных созданий природы, которые кружились в небе и дополняли своей пестротой скудный летний пейзаж. Они расправляли свои тонкие крылья совершенно разной формы и окраски, легким взмахом отрывали свои тела от земли и отправлялись в свой недолгий первый или последний полет под высокими перистыми облаками. Лавируя в потоках свежего воздуха на фоне лазурного неба, они проживали свои минуты, часы и дни, отведенные им судьбой, природой и безжалостным временем, которое отдавало этих созданий в костлявые руки пустой бесконечной тьмы слишком рано. От цветка к цветку, от поля к полю они летали, одурманенные иллюзорной свободой, и играли своими крыльями сонату жизни и безмерной любви к каждому ее мгновению, и только человек шел не от себя к себе, не от счастья к счастью, а от грязной перины колыбельной до твердых досок гроба, от строгих матери с отцом до лживого человека в рясе или монашеской робе. Этим и отличались пестрые и легкотельные бабочки от людей, проживающих свою бесконечно долгую жизнь ради того, чтобы в конце концов болезненно умереть в одиночестве, истлеть от старости и немощности, вместо того, чтобы пересечь тысячи километров в поисках настоящего великого счастья. Все беззащитные тонкокрылые мотыльки, которые в отчаянном безумии обжигали крылья в пламени восковых свечей, все бледнотельные шелкопряды, которые вдохновенно и одержимо создавали невесомые нити и белоснежные коконы тончайшего шелка. Все они были свободны, словно сам ветер, они были прекрасны, словно цветы незабудки на маковом поле, они были по-настоящему живы, эти бабочки, мотыльки и шелкопряды просто были и им хватало этого бытия, этого мимолетного существования, в быстротечности которого все они никогда не желали сверх меры, никогда не пытались обмануть коварную смерть, они никогда не отвергали себя и свои скромные мечты ради эгоистичного счастья других. Такими удивительными и простыми были крылатые создания природы, которые великодушно окрашивали в яркие цвета это странное для меня лето, которое гоняло облака ветром по небосводу, испаряло воду в реках и озерах, по миллиметрам в день делало выше стройные деревья и кусты. И только бабочки в небе не могли прожить и прочувствовать все это величие от светлого начала до триумфального окончания, от первого розового рассвета до последнего ярко-желтого заката, после которого холодными опавшими листьями в наши края ворвется печальная осень. Некоторые цветочные красавицы не могли прожить и двух дней, чтобы увидеть вновь необъятное желтое поле на фоне огненно-красного заката, ощутить всей душой истинное величие природы и почувствовать страстные порывы ветра перемен. Но вечная борьба за место над облаками рвала их булабочные сердца на мелкие куски, эти бедные существа так быстро умирали, что сменяли за короткое знойное лето несколько поколений, а после смерти их легкие, словно сама невесомость, тела падали на траву, прорывались сквозь кроны деревьев и украшали своими сухими выцветшими крыльями кусты и клумбы. Некоторых несчастных жертв времени подхватывал и уносил за собой сильный ветер, шелестящий листьями старых берез, он взмывал вместе с ними высоко к небу и отправлял безжизненные тела в густой туман далеких облаков, учтиво провожая крохотных пустотелых мертвецов в их последний прощальный путь. Этот благородный ветер уносил к перистым облакам и одинокие опавшие листья, сирот многолетних деревьев, и пушистые белоснежные зонтики одуванчиков, за ручки которых хватались миниатюрные волшебницы, и нежные лепестки ярких полевых цветов. А я, тем временем, лишь молчаливо скорбел о том, как мимолетные мгновения для одних становились непостижимой вечностью для других, я просто стоял в стороне, у дорожной обочины жизни и пытался

запомнить во всех деталях, как июльское лето превращало мои родные края в нечто новое, очаровательное и особенное.

– И тебя тоже завораживает эта красота, не так ли? Бабочки-белянки на фоне утопающего в зное горизонта, они лучше всех нас, Марко, даже если мы возьмемся за руки и станем чуть добрее, они все равно будут выше и свободнее, во все времена. А этот мир вокруг, этот волшебный дивный мир, он навеки останется для человека непостижимым и прекрасным, ведь так? – спросил отец, протянув свою длинную руку вперед и показав ладонью на простирающееся впереди желтое, словно летнее солнце, поле.

Я душевно согласился с сантиментами отца, молчаливо кивнул и тоже устремил свой безмятежный взгляд на это яркое создание природы, которое упиралось тонкими колосьями в синевато-белесый горизонт и продолжало тихо шелестеть на ветру, будто отвечая на мое нудное детское любопытство змеиным шипением. Чуть выше ровной желтой полосы пшеничного поля, мой взгляд терялся меж далеких темных холмов, которые лишь мелкими верхушками разрезали всю прямолинейность пейзажа перед нами и, что странно, напоминали мне своим молчаливым одиночеством о раннем детстве и о старых потерянных друзьях. Перед глазами ребенка, прикрывающего лицо от солнца, проносились отдаленные сумрачные образы, словно кадры на исцарапанной киноленте: бессмысленные и безрассудные игры меж плотных стеблей пшеницы, вечная тихая ненависть и ярость со стороны Филла, главного мерзавца семьи Йозеф, яркая клетчатая рубашка, грязная и рваная, подарившая мне отвратительное прозвище «павлин», и ядовитые, полные азарта взгляды моих «верных друзей», которых я спустя год больше и не видел. Из моей жизни были вырваны яркие солнечные дни, хлесткие удары по лицу, безумное дыхание от частых побегов, исцарапанные руки, гневные взгляды, надменные ухмылки, но вместе с этим хамством и презрением из моей жизни пропало ржавое пригретое место в цепи из образцовых и показательных. Я потерял тогда тех, кто лишь нагло пользовался моей добротой и слепостью, кто рвал на части мои мечты и выбивал землю из под ног, кто заглушал криками безмолвную тишину и заполнял мертвенно бледную пустоту чувствами и словами, я потерял тогда самое ценное и обрел самое страшное – одиночество. Я не знал, правда не знал, куда так резко уехала большая немецкая семья, в которой жили мои тираничные лжетоварищи, но я страшно сильно хотел уехать вместе с ними, лишь бы снова не остаться наедине с самим собой, лицом к лицу со своими внутренними демонами, которые скреблись ногтями о ножки моей кровати. Проклятый Филл, ненавистный Ганс, толстомордый Эдди, отвратительный Клаус и зубастая Петра, все они весной прошлого года покинули наши края в кругу своей лицемерной аристократичной семьи, которая решила перебраться поближе к своей национальной родине, на Запад, родину Ницше и Гегеля, как мне вскоре объяснил отец. И на самом деле, я был самому Богу обязан тем, что лживый надменный гнет этой богатой тщеславной семьи, наконец, спал с мужских плеч отца, перестал досаждать мне избиениями и кровью выбитых зубов, а матери, земля ей пухом, – оскорблениями и публичными издевательствами. Но я никого не благодарил за случившееся, я не был фанатично и разъяренно настроен против людей, которые приняли меня в свой престижный круг мерзопакостности, не отвергли и не признали меня инфантильным, хоть сами были совершенны в абсурдности мнений и знаний. Поэтому я не презирал их всей душой за раны, которые уже давно затянулись шрамами, за синяки, которые исчезли так, словно их и не было, и за всю боль, что испытывало мое тело раз за разом, когда я играл в их жестокие игры, пародируя муки жертв Святой Инквизиции. Физическая боль переносилась мной намного легче, чем душевная, все раны на моей коже быстро затягивались, как на плешиевой собаке, но моя память могла годами хранить лишь одно обидное слово, которое иллюзорным скальпелем резало мне сердце и оставляла на душе не зарастающий кровоточащий порез. Я не возненавидел извращенного Филла и его гордую свиту, я не воздвиг в своем сердце не одной крепостной стены, чтобы отгородиться от туманного мира, жестокого, клеймящего, парадоксального, я просто принял смерть,

как реальность, а всю боль, как морфин. Но очень скоро по зову старой ведьмы жизнь вокруг перевернулась для меня испанским восклицательным, Филл и остальные навсегда покинули меня, бросили умирать от одиночества, их просторное поместье опустело, словно призрачный замок, жестокие игры и кровавые ссадины превратились в ностальгические воспоминания и книжные листы, моя рубашка выцвела, лицо вновь стало чистым и светлым, а это желтое поле перестало быть для меня особенным, сейчас от него просто тошнило. Я перестал находить себе места в этом мире, я потерялся во времени и продал душу Дьяволу, я продолжал неделями слоняться вдоль желтых колосьев пшеницы и питаться лишь одними мыслями о своем прошлом, из моего сердца будто вырвали клочок моей прекрасной жизни, тех солнечных дней, которые были постыдными, горькими, но до безумия родными. Именно тогда я перестал бессмысленно бежать вперед, цепляясь за иллюзорное милосердие мира, я обреченно начал бродить в идиллиях воспоминаний, как щенок на улице, дрожащий от холода и страха, голодающий изгой среди бессердечных людей.

– И все-таки, одно меня удивляет в этом завораживающем месте, отец – этих прекрасных и свободных, ярких и игривых бабочек с середины июня по июль месяц в наших знойных краях, прямо над необъятным пшеничным полем, на самом деле, появляется очень-очень много.

– Однако, здесь не всегда кружились мириады этих порхающих созданий, раньше подобные места были пусты, заболочены и одиноки, а под толстым слоем вязкой глины томились древние забытые катакомбы. – ответил мне отец, когда протянул руки вперед и нежно подхватил в воздухе очередную бабочку.

– Дай угадаю, сейчас ты отпустишь ее из рук в небо, а потом начнешь свой долгий занятый рассказ? – недоумевающе спросил я отца, который, как обычно, нагонял в любую свою историю таинственность и мрачность, будто рассказывал о Чуме или Великом голоде.

– Нет, я не буду выпускать из рук это крохотное беспомощное существо, эта бабочка слишком красива, чтобы я смог милосердно отдать ее обратно белым облакам. Я могу лишь подарить пойманную белянку другому человеку, тому, кто нуждается в ее красоте, тому, кто потерял способность видеть прекрасное в мире вокруг. – проникновенно ответил отец и протянул в мою сторону свои сжатые руки и бедное насекомое, запертое внутри.

– Знаешь, бабочка в твоих руках тоже ничего не видит, она бьется о темную преграду и будет продолжать это делать, пока ты не отпустишь ее, так делают все бабочки, потому что они не знают, что такое неприступные стены. И многие люди, также как эта бабочка, стали слепы к красоте не по собственной воле, а из-за того, что их просто заперли: бабочку – в руках, а людей – в их собственных зонах комфорта и рамках стереотипов. Тогда, ответь мне на вопрос, кто же из них наиболее слеп: люди, считающие нормой издеваться над бедной бабочкой, или она, запертая в руках этих жестоких людей?

Мой отец, по своему обыкновению, решил оставить очередной вопрос моего дотошного ума без ответа, устремил свой взгляд далеко в безбрежное небо и подарил полям, утопающим в зное, тишину, спокойствие и бабочку, одиноко улетающую к сияющему горизонту. Она медленно терялась вдали, мелькала над уровнем неба, пропадала с желтых листов древних карт, на нее больше не указывал волшебный компас одинокого пирата, и с каждым взмахом тонких крыльев эта бабочка становилась все дальше и дальше, отрывая от наших душ нервную злободневность, обреченность и меланхолию этих одинаковых скучных летних дней. И я прекрасно отчетливо помнил, как мокрой до костного мозга осенью всем сердцем ждал очередных перемен, безумных дней, бессонных ночей и солнечной летней теплоты, но я не знал, что впереди меня ждали лишь цветы одиночества, прорастающие на выжженных тропах, и огромный рой вопросов без ответа. А я просто устал вечно спрашивать и наивно ждать объяснений, я устал мечтать и загонять себя в колесе фанатичной веры, я устал от солнца, от дождя, от вида за своим окном, я устал мыслить лишь своими интересами и считать, что ответы искать и мне

по плечу, я просто устал возводить вокруг себя кирпичные стены из надежд и биться о них головой, как та бедная бабочка в теплых руках моего отца. Умного и серьезного человека, апатичного, словно висельник перед экзекуцией, усердного читателя прозы и философии, который уже несколько минут нашего мертвенного затишья пытался вновь начать диалог, но, кажется, никак не мог подобрать в мыслях нужные слова.

– Когда-то очень давно, в раннем детстве, пьяным южным летом или же злобной холодной зимой, я не могу вспомнить точнее, одна девушка рассказала мне интересную историю о бескрайнем радужном поле, что заполняло эти места еще до того, как Панфельд вышла из берегов и превратила все вокруг в вязкое отвратительное болото на несколько десятилетий. Эта удивительная девушка, облаченная в платье из чистого шелка, рассказала мне тогда о далеких временах, что терялись среди страниц древних грамот и рукописных книг в кожаном переплете, о тех временах, по мягкой земле которых бродили живые легенды, о временах Агасфера и Каина, вечных скитальцев, о временах тех, кто превратил свое счастье в смертельный яд, а мучительные страдания – в лекарство.

Эта история о далеком прошлом не была простой легендой, в ее необычности не было великой тайны языческих культов или скрытого смысла философии, нравочужения или наказания, героя или злодея, в ней был простой и реальный мир, обычная жизнь, тривиальная глупость детства, искренняя человеческая наивность, грезы, мечты и желания, которым сбыться не суждено. В этой истории был простой светловолосый, под двойное каре, тонкотельный мальчик, одетый в легкое светло-каштановое пальто, под которым плотно прилегала к телу рубашка кремового цвета, прямые подвернутые брюки и узкую клетчатую трибл, сдвинутую на бок. Кроме него, поклонника Тома Сойера, ребенка на возраст лет десяти, но на ум – пятидесяти, который стоял посреди широкого необъятного поля, заросшего травой по колени, в этой истории была маленькая металлическая коробочка, в которой скрывалось нечто очень ценное. Внутри этого холодного стального прямоугольника, ящика Пандоры, вывернутого наизнанку, содержалось волшебство, способное исполнить любое желание, которое мог загадать этот ребенок, оторвав прочную крышку от корпуса, правда, желание могло быть только одно. Поэтому мальчик не открывал металлическую коробочку в солнечный день на чудесном радужном поле, поэтому он часто думал о своих мечтах и грезах, поэтому он не торопился использовать бесценный подарок высших сил, боясь провального фальстарта, он лишь смотрел на прекрасную белую бабочку, которая порхала в воздухе прямо напротив него, закрывая своими тонкими крыльями яркий свет солнца. Это беззащитное насекомое скиталось по обетованной земле, от острых шипов красной розы до белых лепестков подснежника, от скалистых гор до глинистых низин, бабочка-белянка видела все, абсолютно все, что происходило в этом жестоком, но справедливом мире. И среди многих легенд и историй, среди каменных скрижалей и древних манускриптов слагалось лишь одно безумное изречение: если существует кто-то в этом мире настолько могущественный, что видит абсолютно все, что в кромешной темноте способен свет найти, значит он – Бог. Но, к сожалению, эта тонкокрылая красавица была простой белянкой, ее жизнь оставалась мимолетной и пустой, а багровые закаты медленно вскапывали холодную могилу этой страдальце, и пускай она не была Богом, зато точно с ним виделась однажды, когда порхала среди высоких облаков, израненная ветром, но свободная. И этот одинокий мальчик, заперший внутри себя мудрого взрослого, этот постаревший сердцем ребенок, который иногда забывал о родном доме и ночевал в тихом омуте, этот мечтательный звездочет на радужном поле тоже однажды виделся с Богом. Когда ему было очень плохо, когда он всей душой страдал, словно отрекшийся пилигрим, Богу стало настолько сильно его жалко, что он подарил ему эту замечательную коробочку с волшебством, которую можно открыть лишь однажды и исполнить свое самое заветное желание. Этот мальчик, владелец острого надменного ума и владения в Сен-Мишель, он был эгоистично уверен в том, что с этой коробочкой

в руках ему по силам сделать все что угодно, изменить этот жестокий мир, погруженный в вечную Варфоломеевскую ночь, подарить новую жизнь тем, кого он любит, или сделать даже так, чтобы наступил долгожданный конец света по предсказанию Нострадамуса. Этот израненный ребенок мог превратить далекий оранжевый закат в непостижимую вечность для всего человечества, остановить солнечных зайчиков на коре дуба, сравнить с тишиной мелодичные звуки природы на радужном поле, но милосердный блондин не желал прекращать жизнь одно единственного существа, порхающего над удивительным полем и над всеми нами, страдальцами. Юное дитя видело в бабочке-белянке, в единственной искре жизни среди этих пустых мест, духовную вечность, застывшую в старых часах, добродетельный свет в конце темного туннеля, красоту высокого полета, бесценную свободу и мягкий голос того, кто наблюдал за нами с ласковых небес. Ему казалось, что эта бабочка и впрямь была посланником самого Бога, потерявшего связь с миром грешных людей, ему казалось, что они обязательно когда-нибудь встретятся еще раз с этой белокрылой красавицей, сверкающей среди облаков, поэтому он крикнул ей вслед не одинокое и скорбное «Прощай», а наивное, но искреннее «Пока». Но этот глупый самовлюбленный мальчик на возраст и на ум лет десяти даже не заметил, как мир вокруг продолжил диктовать свои жестокие правила: его бесценная металлическая коробочка оказалась простой пустышкой, береговой бутылкой без письма, горькой конфетой без начинки, а всевидящая бабочка-белянка, порхающая над облаками, больше не вернулась к нему из своего последнего путешествия. Ее крохотное беззащитное тело разорвало на мелкие кровавые частички великим ураганом и развеяло по одиноким серым местам, по молчаливым туманным равнинам, далеко от прекрасного, спокойного и мечтательного радужного поля. А долгожданный конец света так и не наступил...

В голове моей беспорядочно мелькали мысли, они, словно бабочки, роились над красивым цветком колючей розы, пытались испить из него ядовитый нектар и желали унести в небеса еще пару мгновений быстрой жизни, которая все равно оборвалась бы вместе с вечностью последнего заката. Эти прекрасные бабочки даже не представляли, что летают над едким цветком, возросшем на поле трупов, древнем могильном кургане, стебли которого пропитались кадаверином, тонкие лепестки которого окрасились в кроваво-алый, а шипы стали бритвенно острыми. Все мои мысли были лишь о том, как ощущение того, что из глубин этого поля прямо на меня смотрят чужие пустые глазницы, наполняло меня все сильнее. Я видел сжатые в безумном оскале зубы, выдавленные из сломанной челюсти, я видел глубокие трещины, заполненные свежей плотью и гнилой тканью, внутренние полости, кишачие червями и паразитами, и острые обломки белых костей. Мне казалось, что эти наполненные душами мертвых людей места притягивали меня, звали вступить в ряды усопших, вернуться в орду непогребенных господ, остаться в этой холодной темной земле навечно и подарить своим телом новую пищу всем подземным существам. И эти обожженные скелеты шептали мне свой собственный похоронный марш, протягивали ко мне костлявые руки, сжимающие старые семейные реликвии, и вырывали пальцы из толщи земли, царапали грязными ногтями гнилые крышки гробов и разбивали свои пустые черепа о монолитные плиты, последнюю память о прошлом мертвецов. Некогда желтое пшеничное поле преображалось жуткими формами и образами в моих глазах секунда за секундой, светлые колосья становились темнее, ломались и падали на почерневшую землю, небо заполнялось густым серым дымом, пепельной пылью, а огромные капли кислотного дождя разъедали мою бледную кожу и оголяли безобразные внутренние полости. Мое сознание полностью поглотил животный страх, ползающий тысячью сороконожек по спине и пронизывающий сотней черных взглядов мертвецов, я всеми силами пытался отогнать это смутное наваждение и прекратить видения, которые терроризировали мои мысли, но никакие усилия не спасали меня от бездушных людей, чудовищ и городских легенд погребенных в этих местах. Я представлял, как они все, переплетаясь, словно клубок нервных волокон, лежали

под несколькими слоями земли, страстно прижавшись друг другу, пропустив поломанные тонкие пальцы под ребра, медленно развалившись по конечностям и позвонкам, навсегда замерев в одном положении, окончательно ощутив на себе саму смерть. Именно тогда я вновь вспомнил о страшной утрате одного очень дорогого мне человека, о смерти, которую я во всех черно-белых тонах видел собственными глазами, о смерти, которая разорвала мне сердце на тысячи осколков и оставила внутри только пустоту, о смерти, которая постоянно врывается в мои мысли подобными кошмарами и видениями, о смерти, которую я тщетно пытался больше не вспоминать. И в такие моменты, когда скорбные воспоминания и мое бурное воображение смешивались в нечто неопишимо отвратительное, я искренне мечтал вместо широкого пшеничного поля и пустых глазниц своей матери, наблюдающих за мной из под толщи плодородной земли, увидеть то самое радужное поле и прекрасных бабочек, порхающих около маленькой жестяной коробочки, способной исполнить любое желание ее владельца, правда, только одно.

Мимо нас, словно огромные жужжащие самолеты, пролетали стрекозы, будто балерины в небе, танцевали бабочки, сверху ярким диском наши головы жарило солнце, а высоко в небе под облаками проносились одинокие птицы и на мгновения закрывали собой этот одинокий шар света, напевая мелодичную песню свободы. Те, кто умел летать, подхватывая крыльями ветер, летали в небе, над облаками или под ними, меж тонких ветвей деревьев или меж острых утесов каньонов, те кто умел ползать, что не удивительно, ползали по земле, под камнями, кустарниками или учились ходить, как годовалые младенцы. Солнце продолжало нас согревать и наполнять окружающие места жизнью и светом, наши легкие наполнялись воздухом, сердца продолжали биться в нужном им ритме, жизнь в мире продолжала свой ход, не сменяя проторенного курса и казалось, все было как обычно. Но я не торопился говорить, что этот день был таким же жарким и обычным летним днем, как все дни до него, не собирался делать выводы о прохладном вечере и о будущем, далеком, как корабль на горизонте, пусть и погода в это знойное утро была совершенно типичной, обыденной и надоедающей. Единственное, что выбивалось из колеи мерзкой стабильности, так только легкий ветерок, вечно меняющий свое направление и силу, который мягко шелестел ветвями деревьев, моими длинными волосами и густой травой под ногами людей, что стояли на «радужном» поле. Несмотря на эту нетипичную для природы полноту и отсутствие детской неопределенности, несмотря на однотипность всей жизни, что видел вокруг, я чистосердечно дорожил каждым клочком родной мне земли и принимал все ее правила, словно фигура на шахматной доске. Мне была приятна атмосфера здешних мест, были приятны люди, которые населяли эти небольшие фермы, сараи, дома, работали для себя и своей семьи, были ближе к миру природы нежели упрямые городские вельможи. Каждое дерево здесь наполняло воздух своей неугасающей энергией и кислородом, каждое поле оставляло мозоли на руках и пот на своей почве от плодотворной работы жителей наших краев, каждый деревянный дом хранил теплый семейный очаг, каждый из нас был частью этих прекрасных свободных мест. Все вокруг меня не просто росло и существовало, такое тривиальное, но близкое к сердцу, все вокруг говорило о движении и о жизни, такой приятной и щекочущей маленькие пятки, когда ты пытаешься догнать неуловимое счастье. Все вокруг меня было летом, знойным, тихим, слегка облачным, синим, желтым и ярко-зеленым, все вокруг было моим четырнадцатым по счету годом жизни в окрестностях, фермерских полях, города Бреста, в котором моя семья жила уже очень давно.

После привычной для наших разговоров паузы, которые иногда досаждали не хуже комаров во время вечерних прогулок, отец улыбнулся и несколько раз махнул рукой в сторону дороги, подавая знак, что нам пора идти дальше и продолжать свой путь в шумный город, засучив «накрахмаленные» потом рукава. Такие путешествия для меня были уже не в новинку, но ворвались они в мою жизнь довольно резко, аки пушечный выстрел, с тех самых пор, как я стал гордо называть себя учеником городской школы, одной из немногих на территории Фран-

ции. Каждый июль последних пяти лет для нашей семьи ознаменовывался тем, что мы с отцом должны были ходить по несколько десятков километров до города, где он работал учителем в школе, а я в этом же отвратительном месте учился, выжигая из жизни часы, дни и недели. Наш путь обычно лежал через мост, выложенный серым камнем, на котором очень часто стояли молодые пары, узкие песчано-гравиевые тропинки, выложенные очень давно, небольшие островки еловых лесов, одиноко растущие на зеленых равнинах, многочисленные пшеничные поля и асфальтированные дороги, ознаменовавшие начало городской инфраструктуры. Пока мы шли вдоль них, медленно сгорая под палящим солнцем, мимо нас, гудя своими двух-актовыми двигателями, проезжали изобретения Генри Форда или семьи Рено, проносившие сквозь тысячи километров своих богатых серьезных владельцев. За прозрачными окнами автомобильных дверей были видны их начищенные пальто, черные пиджаки, кардиганы или узкие жилеты, некоторые прикрывали свою пышную голову котелками, иные же носили аккуратные очки в стальной или платиновой оправе, сквозь стекла которых они бросались надменными взглядами в незнакомцев. Однако, во всех этих людях, носящих костюмы разного кроя и цвета, задирающих нос или элегантно поправляющих очки, скромных или до отчаяния вальяжных было одно общее и никогда не устаревающее правило, которое уже давно расставило всех людей по «росту». Все эти люди были родом из богатых семей, окруженные почетом и «оловянными солдатиками» прислуги, имели свой бизнес, продолжали дело отца или в редких случаях матери, некоторые были молодыми учеными, членами Католической Церкви, а отдельные, выглядящее уже менее представительно, были работниками речного порта нашего города. Иногда бывало, что на этой части дороги нас замечали и учтиво подвозили до места назначения некоторые добрые и интеллигентные люди, те самые работники, доставляющие портовый груз, или неравнодушные к простым людям богачи, томно наблюдающие за нами, словно шершни в пчелином улье. Мы с отцом аккуратно запрыгивали в мягкие кожаные салоны, этично снимали наши обожженные солнцем панамы и смотрели сквозь стекло, как поля и деревья проносятся мимо нас, словно выпущенные стрелы, а очертания дымящего трубами города вдали становятся все объемнее и объемнее. Но если же случай поворачивался к нам спиной, а удача ехидно прощалась с нами, как в азартных играх, если таких приятных людей внутри четырехколесных «коробок» мы не встречали, то эту часть дороги отец всегда старался идти чуть быстрее остального пути, словно догонял невидимого беглеца. Я, человек тонкого телосложения и сугубо атлетических навыков, всегда старался поспевать за отцом и поэтому, тяжело дыша, пародируя паровоз Черепановых, семенил своими маленькими детскими ножками по дороге, буквально отстукивая чечетку твердыми каблуками о горячий черный асфальт.

Город, как обычно, приветствовал нас широко открытыми воротами, огромным количеством людей, то и дело спешащих куда-то, что-то обсуждающих, стерегущих свои «каделаки», разгружающих тяжелые мешки или ящики, запрыгивающих или выпрыгивающих из уютных кожаных салонов. Самые различные наряды и облачения, показывающие в основном социальный статус человека, мелькали словно краски на картине художника, который рисовал это творение, похоже, в приступе безумия и помешательства. Красно-бардовые, иссиня-лазуревые, белоснежно-белые и изумрудно-зеленые окрасы через пару мгновений смешались в один единственный необычный цвет – «городской», напоминая теперь сад земных наслаждений. Серые стены устремляющиеся в небо, словно взгляды звездочетов, черепичные крыши, словно чешуя гигантских рыб, дымоходы, извергающие в чистый воздух клубы едкого дыма, и много других шестеренок, стрелок, табличек, занавесок, которые были кожей и мышцами города под названием «Брест». Этот город не только выглядел по-особенному, но и звучал, словно несколько паровых машин или поездов, разрывающих железнодорожное полотно, вокруг царил просто феерия различных звуков, которые наполняли эти узкие улицы своим атмосферным низкочастотным гулом. Все бытовые разговоры, деловые беседы, командирские окрики, вздохи и выдохи людей вокруг были мне непривычны и чужды после моего долгого пребывания

в тихой деревне, в которой звучало лишь мелодичное пение птиц и тихий вой ветра днем и серых волков – ночью. Странно, что даже шум у ворот сегодня стоял куда больший, чем ему надлежало быть, если мне все это не казалось или чудилось от неожиданного солнечного дурмана. Люди вокруг яростно что-то обсуждали, злились друг на друга, словно стая голодных псов, хватались за голову, закрывая уши, слонялись кругами по тротуару, все спешили забежать в одну скрипучую дверь и выбежать из другой, чуть не сорвав бедную с петель. Мне тогда казалось, что все решили устроить цирковое представление масштабов с древний Колизей, начать метаться туда-сюда, как клоуны, причудливо размахивать руками, жонглируя невидимыми предметами, и кричать не хуже оперных актеров. Отец тоже, наверняка, заметил нарастающую тревожность людей у главного входа, но отказался обращать на это хоть крупицу внимания и тратить силы на выяснение соответствующих причин, будь они даже смертельно кровавыми следами от жестокого убийства. Несмотря на тесные кучки активно обсуждающих что-то людей, которые я приметил, что на просторных центральных улицах, что на городской площади перед рынком, смердящим подгнивающими овощами, я тоже решил имитировать полное отсутствие заинтересованности в этих скучных беседах зевая. Однако, мое скорбное и бледно костлявое прошлое продолжало тянуть меня ближе к сырой темной земле, ближе к мягкому теплу внутренностей человеческого тела и холодных недр грешной души всех людей, ближе к мыслям, страхам и мечтам, к пустым разговорам и молчаливой правде, ближе к самой сути. Поэтому нечто ядовито жуткое, словно бездомный бражник «Мертвая голова», все же доносились до моих отрешенных мыслей и скапливалось на тонких стенках черепа прозрачно-зеленой сыростью, а иногда, будто по воле одинокой бабочки-белянки, я слышал все, буквально все, что происходило в это мире.

– Знаешь, друг мой, ты не поверишь ни единому моему слову, если я начну рассказывать тебе эту историю, будто сошедшую со страниц Молота Ведьм. Недавно я от одного нашего общего знакомого, Гальвани, ты должен помнить его странный взгляд и черное скверное пальто, слышал кое-что о дочери Себастьяна Лемуар, Изабелы. Ужасная беда приключилась с юной любительницей конного спорта, кошмарное бедствие обрушилось на прекрасную семью, одну из самых богатых в нашем городе, а теперь, одну из самых несчастных и напуганных до стука в зубах. Я расскажу тебе эту историю ровно также, как мне ее рассказал сам доктор Гальвани воскресным вечером за двумя бокалами итальянского красного, не упуская подробностей и жутких отвратительных вещей. – слышал я разговор двух джентльменов, которые сидели за уличным столиком, напротив ресторана шведской кухни «De proete», – В общем, начну с простого: пару недель назад доктора Гальвани вызвал сэр Лемуар и попросил поскорее приехать к нему в особняк на Сен-Диви, не сказав больше ни единого слова. Страшная картина, как оказалось, ждала молодого доктора в одной из просторных комнат, освещенных парой лампад, что было большой редкостью для светлого викторианского палаццо. В самом центре комнаты, в кровати лежала уже упомянутая мной Изабель, бледная, взъерошенная, изнеможенная, ее впалые щеки еле поднимались, когда она пыталась вытянуть из себя слова, уголки губ не могли подняться даже при виде дорогих ей людей, глаза у девочки были красные, зрачки – потухшие, а вокруг опухших век красовалась темная обводка. Иногда цвет кожи бедной девочки начинал приобретать синий трупный оттенок, отчего она становилась похожа на ожившего мертвеца, все ее тело бросало в дрожь и трепет, «бабочка прогревала крылья», а кровавый кашель усиливался настолько, что казалось, он разрывает на части брюшные мышцы и причиняет Изабелы наизуаснейшую боль, которую девочка стерпеть не в состоянии. Она медленно умирала на глазах у своих родителей, бедная дочь богача, ее лихорадило, бросало в жар и холод, а иногда, посреди ночи, еле слышно она звала свою мать, протяжно и долго, и просила ее побыть с ней в эти последние предсмертные дни. Изабель часто, едва дрожа губами, просила доктора о скорой смерти, о прекращении этих мучений, которые ей были непосильны, которые разрывали ее тело на тысячи частей и заставляли молчаливо пла-

кать от боли. И несмотря на невероятный врачебный опыт Гальвани, несмотря на все его тщетные попытки сделать невозможное, он был абсолютно бессилён перед этой болезнью, а отчаянье медленно прорастало в его сердце и пронзало ядовитыми шипами смоляные легкие, он беспомощно следил за тем, как медленно умирает его пациент от неизлечимой болезни, новой Чумы, что поразила, казалось, весь мир и перекроила каждого человека. Эта болезнь медленно переходила в явную угрозу для жизни девочки, Гальвани нервничал, метался по комнате, словно загнанный в западню зверь, он пытался думать о возможных вакцинах, способах лечения витаминами, но все продолжало сводиться к одному единственному исходу – к мучительной смерти. То, что творилось в этой злосчастной комнате словами без надрыва не может передать даже человек, который видел сотни ужасных болезней, гнойные нарывы на коже, заплывшие жиром органы, открытые переломы, кровоточащие рваные раны, и порванные сухожилия, гнилые зубы, слепые тусклые глаза и тысячи изуродованных тел.

– И что же случилось потом, посвети в суть, не томи. – заинтригованный началом стал интересоваться бородатый мужчина, одетый в черный приталенный пиджак с рисунком в белый горошек, который нервно стучал пивным стаканом по столу.

– Далее доктора Гальвани ждала долгая, сокрытая в тайне от других людей, укутанная страхом заразиться самому, ужасная терапия лечения юной Изабелы, девочки, попавшей в цепкие руки смерти. Две недели он курировал лечение этого странного и нового для медицины гриппа, который не брали обычные способы борьбы с вирусным заболеванием, патогенез которого поражал своей эффективностью. Гальвани приходилось самому лично разрабатывать лечение, которое было лишь «пальцем в небо», и постоянно следить за медленно умирающей девочкой, которой с каждым днем становилось все хуже и хуже. Высокая температура, судороги, тошнота и рвота, головные боли, ужасный по своей силе кашель не ослабевали в течение первых пяти дней болезни, а доведенный до пьянства Гальвани не находил себе места от осознания бесполезности своего профессионализма и его личных методов, которые были теперь лишь пустым звуком. Но семье Ленуар все-таки очень повезло, что у Гальвани был доступ к хорошим препаратам, например, аспирину, который облегчал самочувствие больного, а благодаря его исследованиям вскоре был найден хороший комплекс витаминов, которые усиливали иммунную систему и боролись с сильным вирусом. Когда шестой день самобичевания и, казалось, бесполезной тщетной борьбы за жизнь подошел к концу, Гальвани был доволен улучшениями самочувствия девочки, которая, наконец, начала говорить, улыбаться, а ее глаза вновь вспыхнули детским огнем свободы и миролюбия, девочка быстро вернулась к норме из своего жуткого состояния, которое слепо шло вдоль края пропасти жизни и смерти. А спустя еще пару дней интенсивного лечения витаминами, теплом и аспирином доктор был уверен в выздоровлении Изабелы, но страх непредсказуемой вспышки «новой Чумы» в городе не покидал его даже ночью, он в страхе представлял перед собой галерею пустых и мертвых взглядов, где каждый умирает, страдая, как души Ада. Даже находясь в моей уютной квартире в Гранд Перно, вдали от этой каждодневной мирской суеты, и, держа в руках полупустой бокал сладкого вина, он продолжал беспокоиться о грядущих проблемах и судьбе города и поведал мне довольно неутешительный прогноз о скорой участи каждого из нас. «Пускай, прошло уже больше недели после полного выздоровления Изабелы, вероятность того, что вирус сможет продолжить мутировать и начнет заражать весь город, медленно перерастая в эпидемию, способную спустя время поразить все человечество, далеко была не равна нулю. Однако, пугать народ в наши и без того беспокойные времена, когда в душе каждого из нас не растворился до конца осадок кровавой войны, которая унесла жизни моей жены, отца, матери и брата, было бы с моей стороны ужасно опрометчиво, это могло моментально привести весь французский народ к волнениям и вспышкам паники, благодаря которым вирус мог начать свое распространение еще быстрее. Голод, разруха, отчаяние, смерти, похороны без могил, запах гнили и свинца, тела внутри квартир и на улицах, дети и взрослые, которые тащат трупы к бере-

гам и морской пене – всего этого нам уже хватило, все это мы уже стерпели и вынесли, и я не хочу допустить вновь подобных ужасов в моем любимом городе. Поэтому я решил сохранить болезнь Изабелы в тайне, оставить все ее мучения на задворках прошлого и оставить их лишь в моем дневнике, предостерег ее родителей и всех, кто следил и непосредственно участвовал в процессе лечения, от разглашения любой лишней информации, которой теперь достойны лишь они. Я решил, что новая кровь должна остаться только там, где ее мелкие капли неизбежно оросят пол и стены, что смерть людей должна остаться там же, где будут похоронены их тела, что о этой болезни не должен узнать никто.» Этой фразой он закончил первую часть нашего с ним разговора, позвал мою скромную Валери и попросил принести ему портсигар.

– И что собирается предпринимать Гальвани в такой ситуации? Неужели будет ждать до последнего, пока с теми же симптомами к нему не сляжет пол города? А если скоро начнут умирать люди, гибнуть, словно мухи под газетой? Это бесчеловечно – скрывать от людей правду, даже если она повествует о неминуемой гибели многих, даже если она – еще одна болезнь среди тысячи других. – сходил с ума от возмущения бородатый сосед высокого мужчины, облаченного в черный бархатный пиджак и белоснежную рубашку классического кроя.

– Люди уже начали умирать, друг мой, в безумных муках от разрывающего легкие кашля, от лихорадки, которая разрывает вены кипящей кровью, и от приступов боли в груди, нестерпимых, словно клеймение за грехи, а то, что о их смерти никто не знает, показывает лишь профессионализм Гальвани, как доктора и фантастичного стратега. Я лучше других знаю, что перед случаем с дочерью сэра Лемуар наш доктор знал еще о двух пациентах с похожими симптомами, которые умерли в первые часы болезни из-за того, что их семьи слишком поздно вызвали врача, самонадеянные идиоты. С надрывных слезливых слов одной пожилой матери о том, что случилось с ее сыном, Гальвани смог прояснить общие тенденции к заражению и течению болезни у человека, однако, во всей этой истории было слишком много преувеличения и неоднозначности, поэтому в те дни общая «картина» этого патогена так сильно его шокировала, что он попросил всех потерпевших держать существование болезни в строгой тайне. Да, это было бесчеловечным шагом с его стороны, но наша жизнь тоже далеко не подарок, и даже не маленькая конфетка с начинкой, она жестокая, несправедливая и бескомпромиссная, она заставляет людей делать ужасные вещи, когда у них нет иного выбора, она заставляет нас выбирать то, что спасет нас самих, самых знаменитых в мире эгоистов. И страх есть в нашей жизни, ползающий по спинам и обвивающийся вокруг шеи, именно из-за него никто из этих бедных людей не сказал ни слова о том, от чего на самом деле умерли их сыновья, дочери, матери и отцы, любимые люди, которых они хотели похоронить по-человечески, но их одеревеневшие тела просто сожгли в крематории, без церемонии, без свидетелей, без священника, который зачитал бы погребальную речь. А Гальвани тем временем не спал ночами из-за мыслей о том, что он столкнулся с чем-то новым и смертельно опасным. Больше всего он боялся обнаружить те же симптомы у себя или своей жены с сыном, потому что не знал, как бороться с тем, что может убить человека за такое короткое время и передается от одного смертного к другому со скоростью гигантского торнадо. Убитый жизнью доктор поведал мне по секрету, что за все это время до нашего с ним разговора он зафиксировал и скрыл от общественности шесть смертельных случаев из восьми заражений, и эта откровенная жуть, которая останется в сердцах всех этих людей и развеется пеплом над полями, была замечена только в пределах нашего небольшого города и его узких улочек. А теперь представь, скольких жертв сейчас также прикрывают от общественности врачи по всему миру, дабы избежать всеобщей паники и волнения, сколько слез уже было пролито в обедневших квартирах, сколько новых тел было безэмоционально сожжено в печах, сколько матерей не смогло увидеть своих дочерей или сыновей в аккуратных черных костюмах и пролить слезы горя на похоронах? Все они молчаливо страдали в одиночестве, уткнувшись головой в плечо мужа или в мягкую шерсть домашней кошки, все они были простыми людьми, которые под страхом вины пообещали доктору Гальвани мол-

чать до последнего, молчать о болезни, которая вскоре убьет каждого из нас. И я уже вижу, как по всему миру от этого заболевания умирают сотнями, как сухие частички их тел кружатся в воздухе, как медленно эта новая Черная Смерть разрастается на нашей планете и поглощает все больше людей, а врачи и власть в панике пытаются удержать весь оставшийся мир в иллюзорном равновесии. Я уже вижу, как совесть всех этих бедных людей гложится тем, что они врут прямо в глаза своим близким ради их благополучной жизни и ради спасения спокойствия мира, который мы и так прекрасно рвем на части сами.

– Не накрути себе лишнего на ум, не позволяй воображению и эмоциям завладеть ясностью ума и будь предельно аккуратен со словами о будущем, ибо оно не определено. Все, что можно сказать по этому поводу, это фразу «Поживем – увидим, мон ами», если, конечно, мы доживем и увидим. – поднимая свою достаточно объемную фигуру из-за стола, на прощание сказал рыжеволосый биолог и уверенно протянул руку своему другу.

– Без сомнения! – после теплого рукопожатия ответил интеллигент в очках, направился в противоположную от ресторана сторону и уже через несколько мгновений скрылся за темным углом узеньких улочек.

Так бессмысленно, банально, резко и совершенно не дружелюбно, в глупой наигранной спешке закончился разговор двух обычных, одетых по моде, вечно бегущих куда-то в этом потоке современности, бюрократизме и демократии, молодых людей. Я пытался найти в их разговоре нечто особенное, цельное, осмысленное и причинное, дабы не посчитать то время, что я провел в внимательном выслушивании каждого их слова, напрасным, но не смог найти абсолютно ничего. Всей сутью их встречи была обычная история проявления необузданной жестокости нашего кровавого мира, тех бед, что вечно льются на землю с плачущих небес, или несчастий, мутирующих раз за разом, словно заболевания. Вся гниль и чернь, кишашая червями внутри человеческих душ, под юбками тех юных тел, что были растленны безумцами и подлецами, была мне не противна, я уже давно привык спокойно смотреть в эту шевелящуюся кашу грехов, присыпанных солью, болью и сахаром похоти. Кражи, похищения, убийства, избиения, тяжелое дыхание заживо погребенного человека, истошные крики душевнобольных, язвы желудка чревоугодников, черные легкие курильщиков и убитая печень пьяниц. Я чувствовал и ощущал всем телом, что все это было лишь частью жизни, которую нужно было принять и слепо радоваться всему, что хоть как-то отличалось от каловых масс, над которыми вечно летали мухи – репортеры и журналисты. Мир был таков, что терпеть его настоящую изнанку было невозможно, если не закрывать глаза и не выворачивать его светлой маленькой стороной к себе, высасывая словно из пальца всю его доброту. Поэтому, ради собственного здоровья, чистого рассудка и светлой памяти, хороших взаимоотношений и всеобщего понимания я не присматривался детально ко всему, что скрывалось в темноте квартир и узких улиц. Я старался не отвлекаться на такие неприятные истории или подобные им, не слушать байки и рассказы всяких странных особ на рыночной площади, которые забалтывали так покупателей, чтобы те брали больше продуктов с их лавок, жадные потребители новостей и фруктов. Я всеми силами отторгал излишки всей той черноты, что иногда заполняла меня, аки глиняный сосуд, до краев и сочилась прямо из моих ушей алой кровью, я старался меньше присматриваться к подобным вещам и утолять свою тягу к познанию научными книгами. Но иногда, словно дьявол, во мне просыпалось неудержимое любопытство, проявляющееся относительно всей жути, что происходила вокруг и пугала остальных смертных, как пауки, темнота или клоуны. В те моменты я ловил своим азартным сознанием любую информацию, впитывал ее, как губка, и анализировал одинокими вечерами в своей маленькой комнате, погруженный в кошмарные мысли и не менее жуткие образы. И особенно сильно это любопытство проявлялось во мне, когда совсем рядом со мной два ученых человека обсуждали бесчеловечное сокрытие от народа информации о «новом гриппе», который совсем недавно поразил одну милую особу,

принадлежащую семье Фрей, единственной семье в этом городе, которую я всем сердцем презирал.

Да, этой милой особой была Изабель Ленуар, моя ровесница, высокомерная девочка, обожающая платья, занимающаяся верховой ездой, имеющая на своем счету не малый список сбывшихся мечтаний и вечно досаждающая родителям своим капризным поведением. Ее вечным призванием было расточительство, гуляющее среди калашных рядов, любимым увлечением – восседание на лошадиных загривках, словно на золотом троне, и, конечно же, легкомысленная игра на фортепиано и отвратительная игра на струнах души близких людей. Она беспорядочно дергала за все возможные ниточки, наивно полагая, что управляет всем миром вокруг, руководит закатом и рассветом, бездействием врагов и их пролитой кровью, но на самом же деле, потянув за одну нить и повторив это на тысяче других нитях, однажды за новой ниточкой потянется курок Маузера, направленного этой девочке в висок. И вот эта крикливая любительница игр в «реальность» доигралась – выстрелом немецкого пистолета в ее нежный висок, прикрытый густыми волосами, стала неизлечимая болезнь, которую она чудом пережила. Возможно, я был не прав, ведь плохо знал ее характер, ее семью и многое, что с ней было связано, я не был ей другом, которому можно поведавать тайны, не был братом, который может знать все, даже родственником, чтобы иметь хоть какое-то о ней представление я не был. Однако, если бы меня попросили по первому впечатлению, по одному лишь взгляду описать ее характер, я бы сказал, что она была очень активной, упертой и высокомерной натурой, без ослиной глупости, но с ослиным упрямством и эгоцентричным акцентом на «Я», которое обвивалось вокруг шеи не шарфом Маленького Принца, а черной змеей. Она с первых секунд производила впечатление человека, который все время пытается чем-то себя занять, будь то бесполезные хобби или легкомысленные отношения, старается ухватиться за любую возможность, будто заполнить этими вечными действиями что-то внутри себя, хоть и заполнять наверняка уже нечего. Этот человек, впрочем, как многие, продолжал безумно бегать по миру в поисках себя там, где его нет и следа, этот человек пытался наполнить себя мелочами, забывая о самом главном, от том, что потом просто напросто не вместится в эту стеклянную банку под названием «жизнь». Миллионы различных хобби, тысячи мимолетных знаний, пара умений здесь, а еще парочка за порогом, несколько крупиц смысла в одном деле и еще несколько тонн, разбросанных по бесконечному списку дел иных, огромное количество начатых возможностей и стремлений, которые никогда не завершатся и не восполнятся до конца – вот как можно было описать все детство Изабеллы по моему скромному мнению. Ведь, если вспомнить все, чем она занималась, то можно было составить не малый список из множества пунктов и подпунктов: этим всем были скачки на лошадях до недавних пор, большую часть детства она посвятила плаванию, рисовала маслом и тушью, занималась графикой, ходила в балетный кружок, играла на скрипке и флейте, читала родную и Советскую литературу, в коих ее кумирами были Вольтер и Толстой. В общем и целом, Изабель Ленуар, горделивая, но педантичная девочка с вечно колеблющимся чувством собственной важности вела себя так, как подобает вести себя занятой и высокомерной особе, и жаль, она не понимала, что подобное поведение – лишь признак безмерной глупости, а она – лишь раскрашенная в павлина сорока.

Одноклассники ее любили, а родители лелеяли и ублажали любой каприз юной «аристократки», от мелких, вроде кофе в постель, до огромных, вроде органа с полутора сотней труб. Ей делали умопомрачительные подарки, устраивали вечера в ее честь, наполненные огромным количеством гостей и тех людей, что обожали эту девочку и были ее слепыми почитателями. Ее жизнь была наполнена роскошью, утонченностью, признанием сотен безвкусных людей, мнение которых эта наивная девочка возводила в абсолют, в ее жизни не было боли, несчастий, обязанностей и ненавистной работы, каторги за условные ценности. Наверно, о такой беззаботной жизни, я деревенский мальчишка, сын учителя городской школы, простой парень, увлекающийся лишь редкими лесными прогулками, мог только мечтать, но я не мечтал, даже не думал

о такой тривиальности. Мне была противна вся мишура и весь пафос таких девиц, мягких Дев с потребностями Льва, как она, которые выставляют себя перед другими людьми, словно он знатоки этой жизни и мира вокруг, хотя сами кроме десятка балетных движений и полусотни слов на французском ничего больше и не знают. А о мудрости в головах этих меркантильных людей даже говорить не стоит, ибо такой вещи для них попросту не существует, ведь, мудрость для них – это вымысел и фальшь, так как она опасна для их пушистого и мягкого «Я». Для таких, как она, представительниц непредставительного бомонда, весь мир состоял сугубо из их безмерного всезаполняющего эго и любимых вещей, которыми они отгоняли скуку из-за которой они начинали обращать внимание на то, что происходит вокруг, наконец, видели реальность. Такие девушки, словно нетерпеливые шахматисты, не умели мыслить критично, не могли противопоставить хоть что-то похожее на действия сложившимся обстоятельствам, которые поглощали их с головой и вырывали из зоны комфорта, аки мелких рыб из воды выбрасывали на берег волны. Они смотрели на мир сквозь призму своего окружения и тех принципов, которые оно им диктовало с высокого постаментов через рупор диктатуры, словно пророк те великие десять заповедей. И я не сомневаюсь, что для Изабелы весь этот мир являлся отражением всего, что делали для нее родители, как уважительно к ней относились учителя в школе, как очень многие ставили эту девицу в эталон, а потом ставили на плиту ржавый чайник на кухнях, и этот мир для нее был отражением её прекрасной и любимой жизни в треснутом от безмерного эгоизма зеркале. Нет, я не буду говорить, что для меня мир был другим, что я сам иногда не впадал в желание копировать мнения своих лживых кумиров и впадать и материальную эйфорию, наоборот, я признаю это обыденной, хоть и скверной чертой любого человека, заложника бесконечного бега человечества к пропасти пороков. Ведь, все мы, умники и умницы, жертвы головных болей и ножевых ранений, печальные клоуны и морфиновые наркоманы, все желали видеть в мире то, что безответно любили, желали видеть во всем вокруг себя легкость, доброту и удачу, которым усмехались мертвые в гробах. Мы продолжали потреблять счастье дозами и зависеть о чужого мнения, которое крикливо доносилось из мерзких ртов или смрадными помоями просачивалось сквозь щели в наших убеждениях. Мы продолжали загребать в свои тонкие руки беспорядочные вещи и захламлять свою душу тяжелой пустотой и кратковременными удовольствиями, которыми кормили своих внутренних голодных псов, и вместе с ними, вместе с миром и комедиантами Сатирикона, мы окончательно забыли, что значит жить по-настоящему.

Если вход в мой шумный город был похож на картину художника импрессиониста, который намешал в одном месте самые разные краски и разбросал по всему холсту беспорядочные пятна, желая сделать свое творение максимально неразборчивым, то район школы был похож скорее на мрачное произведение Дюрера в черно-белых тонах. Прямоугольные бетонно-кирпичные коробки с маленькими окнами, дымоходы, разрезающие небо своими закопченными кирпичами и упирающиеся в его серовато-синюю ткань, протянутые между фасадами соседних зданий обветшалые веревки и грязное женское белье, которое томно раскачивалось на ветру. Подгнивающие оконные рамы и скрипучие двери, красная крошка стен на разбитой дорожной кладке, горький запах табачного дыма, разорванные нервы, как гитарные струны, сигареты в пожелтевших зубах, а над всем этим смрадом – черные вороны. Запахи испражнений, чужой грязной одежды, раскиданной по углам улиц, груды протухающего мусора, над которыми летали мухи, явные любительницы отвратительного запаха, приглушенные стоны совокупляющейся парочки нищих за уличной аркой, истощные крики и шипение кошек, неподеливших остатки «breakfast'a» типичного представителя среднего класса, снующие мимо твоих ног маленькие короткошерстные крысы, разносчики ужасных заболеваний, все это заставляло твое лицо съеживаться в недовольной гримасе и вечно воротить нос. Здесь были бесформенные пепельные пятна на кирпичных стенах, изрисованных граффити, здесь были геометриче-

ски прямоугольные листовки с объявлениями, розыском беглых преступников, которые напоминали о Джеке-потрошителе, Элизабет Батори, и многих других. Здесь были забытые вещи, пропитанные жуткой энергетикой по байкам экстрасенсов и предсказателей, здесь были бездомные обнаженные провода, протянутые вдоль углов, словно замерзшие ночные гости, здесь были пыльные красные проржавевшие велосипеды, оставленные у стен, и напоминающие скрипом своих колес о страхах и ужасах детства. Здесь были омерзительные следы рвотной массы, запачканные кровью, слюной и алкоголем стены, разбросанные игры, шприцы и содержимое полупустых стеклянных флаконов, которое напоминало о беспомощности медицины и жуткой смерти доктора Ксавье. Все вокруг будто наваливалось на тебя сверху, сжимало в своей светло-желтой бетонной могиле твои хрупкие кости, закапывало твоё сознание глубоко под землю, тяготило твой внутренний мир и заставляло содрогаться всем телом от рвотных позывов.

Но было кое-что еще более жуткое, отталкивающее, стерегущее ваши взведенные нервы трехговым Цербером в этом мире чудес квартирников. Этим черным красноглазым псом была тишина, такая застывшая и холодная, что даже школа от ее беззвучия становилась мертвой и отталкивающей, словно ваши подгнивающие стереотипы. Ее прозрачные окна и полуосвещенные коридоры теперь казались смертельным лабиринтом, который ограждал нас от внешнего мира и поглощал своим порядочным безумием наши силы, наше время и дрожащие нервы, а может и рассудок. Тишина, от которой каждый шаг отдавался в голове громким звуком, от которой можно было слышать неровное биение собственного сердца, как химический осадок в реактиве, откладывалась в наших душах. Среди пожелтевших стен, запертых на ключ дверей, старых коридорных скамеек и трехслойных запотевших окон, внутри которых труп на трупе лежали мухи и осы, в нашей школе витала не только гробовая тишина, но и вечное ощущение некой загадочности и мертвенного ожидания, которое смотрело на каждого из нас своими круглыми глазами прямо изнутри бетонной кладки стен, раскрывая каменные веки. Словно тысячеглазый монстр, покрытый гнилью времени и тяжелыми цепями прикованный к этому месту, это ощущение никогда не покидало стен школы, оно скапливалось пустыми взглядами в темных углах, оно проникало нам прямо в душу из щелей тесных шкафчиков, оно пропитывало собой спертый воздух вокруг. Но сегодня, в этот обычный день банального во всех смыслах лета, кроме пристального голодного взгляда по стенам моей жуткой школы ползло еще одно не менее противное существо, оно цепляло длинными руками, омытыми в багрово-алой крови, каждый луч света, проникающий сквозь окна, и превращало его в свою бесформенную тень. Этим существом, которое набрасывалось на кружевные плечи женских юбок, сочась слюной, лезло под подол платьев, поднималось по черной ткани ближе к детским шеям и обвивалось вокруг них петлей над сломанной табуреткой, этим существом, которое обрушилось на нас штормовой волной и оросило соленой водой израненные рты, этим существом был ужасный, поразивший всех до глубины души, несчастный случай, произошедший внутри толстых стен нашей школы. Этим существом был страх, который превращал воздух в лед, а нервное ожидание новых событий – в вечность. Он подарил нам безумное цирковое представление, которое началось совершенно неожиданно и молниеносным потоком событий ворвалось в нашу жизнь, а нам в это время оставалось лишь следить за происходящим, как жалкие трусы, застыв на месте от ужаса.

Багряно-алая кровь. Она была первым, что моим глазам посчастливилось уловить в жуткой атмосфере этой строгой прямоугольной комнаты, освещенной тусклым светом люминесцентных ламп. Темная густая кровь уже определенно мертвого человека, похожего на жертву убийцы служанок или жестокого дровосека, любителя джаза. Среди обычных белых парт, твердых деревянных стульев и темно-зеленой учебной доски теперь находилось нечто жуткое и противоестественное, то, что отложится в памяти каждого ученика и ляжет ответственностью на каждого учителя. О безжалостном приговоре смерти над скромным беззащитным челове-

ком нам говорило многое, что бросалось в глаза, словно кадры из жестокого триллера, многое, что заставляло в страхе отходить назад, раскрывать рот в отчаянном крике и бежать со всех ног как можно дальше, мелькая среди деревьев бледным дрожащим зверьком. Маленькие капли крови были везде: на полу, на недавно покрашенных стенах, небольшими капельками падали с края белой парты и разбивались о деревянные доски, окрашивая их в красноречиво багровый цвет, наполняя воздух смрадной атмосферой скотобойни. Тонкие струи этой вязкой жидкости медленно заполняли комнату, сочились меж одиноко стоящих, разбросанных в панике стульев, опрокинутых парт, а под самой дальней партой среднего ряда растекалась, становилась в больше и больше бесформенная лужа алой крови. Прямо посередине этой старой учебной мебели красовалась неглубокая трещина, которая разделяла парту на две части, словно Моисеевская гряды, ее ножки слегка разъехались и процарапали себе путь на чистом полу, и теперь никто не мог за ней сидеть или учиться, никто даже не стал бы. Теперь белое протертое покрытие этой разорванной на две части парты было залито красной, медленно темнеющей и обретающей вязкость жидкостью, которая совсем недавно текла внутри вен и артерий живого человека. А сверху, в обреченной позе мертвого обездвиженного тела, раскинув тонкие руки в предсмертной агонии, растопырив пальцы под невозможным углом, застыв в кривом страдании, лежала простая девочка, моя ровесница, одетая в обычную школьную форму, как подобает всем ученицам. Единственное странное отличие, что в ней было, это вывернутая, поломанная шея и невообразимо сильно отогнутая вниз голова, с опущенных на пол волос которой по каплям стекало вниз бурое омерзительное вещество. Ее кровавая ехидная улыбка в перевернутом изгибе смотрела на меня, беспомощного труса, украшая запрокинутую назад голову с пробитым на затылке черепом и сломанными шейными позвонками, и заставляла мое тело холодеть, а взгляд – лихорадочно бегать по комнате. Мне казалось, будто ее голова сейчас повернется еще на более омерзительный и нечеловеческий угол, оцепеневшее навсегда тело поднимется с этой парты, нелепо и криво переставляя сломанные кости, а кривой рот начнет громко смеяться, брызгая кровью. Я, легкомысленный мечтатель и фантаст, представлял в своих мыслях ее ломанные, неестественные движения, глаза наливающиеся кровью и руки, тянущиеся ко мне, чтобы забрать меня в мир мертвых вместе с собой, отправить на лодке по реке Стикс, заточить на одном из девяти кругов Ада. Но ничего из моих представлений не происходило, стой я там пять минут или десять, ее безгрешная душа не обретала форму и не возносилась к небесам, ее тело оставалось бездвижным и холодным, как серый лед, а мои мысли оставались лишь глупыми детскими страхами. На этой справедливой и воздающей по заслугам и прегрешениям земле обетованной никому не доставало такой чести, как возможность идти против реалий мира, против банальных правил, которые он диктует. Эта девочка по всем правилам жизни была уже мертва, без сомнения, ее пустые глаза не реагировали на свет, недвижимое лицо не дрогнуло ни одной мышцей за все то долгое время, пока я стоял в кабинете, отсутствие движения грудной клетки говорило об отсутствии дыхания, напоследок, даже сломанная шея и красноречивая кровотокающая трещина в голове кратко, но лаконично описывали ее неутешительный приговор.

Я впервые в жизни дрожал от пяток ног до подушечек указательных пальцев, я до дрожи в коленках боялся осознавать настолько тягостную близость смерти, физическую близость этой костлявой с косой к моему телу, которое с обрызганным кровью трупом разделяли лишь пара метров. И не подходя к ней ближе, не прикасаясь к ее бледной коже, даже не смотря в ее пустые глаза и в клокочущую кровь во рту, я все равно чувствовал мертвецкий холод, который медленно сковывал меня и замуровывал в свой прочный ледяной саркофаг, словно арктическую мумию. Несмотря на то, что в этой пустой комнате было трое людей, совершенно разных жизненных позиций и статуса, своих убеждений и мировоззрений, сформировавшихся или не совсем, своего цвета глаз и формы черепа, своего голоса, роста и телосложения, но я слышал в этой комнате только два тяжелых дыхания и чувствовал лишь два бьющихся в раз-

нобой сердца: моего и отца. Проще сказать, сердце этой бедной девочки уже не билось, оно перестало гонять кровь по организму, наделять каждую клетку тела необходимой энергией и жизнью. Вот что было самым жутким и горестным в этой ситуации, это была полная тотальная потеря не только лишь красивого физического тела, которое уже начало приобретать женственные формы, а потеря личности, мыслящего человека, его желаний, стремлений и чувств, в общем, всего, что отличало его от крысы, бегающей среди узких улочек, или домашнего хомяка в колесе. И несмотря на то, что меня с этой девочкой ничего не связывало, ни единомыслия, ни симпатии, ни любви, ни дружеских чувств и ни родственных уз, я все равно ощутил всем телом, как в моем сердце порвалась одна невидимая нить, словно струна у мелодичной арфы. Идеально тонкая нить, которая удерживает нерушимую связь человека со всем человечеством, генетическую и инстинктивную привязанность к нашему роду, к нашей общей цели, к простым и банальным чувствам и умению ощущать нестерпимую боль других. И пускай большую часть своей жизни я был скверным эгоистичным человеком, пускай свет добродетели не так часто стучался в мое сердце, но я не был абсолютно безразличным существом, лишенным эмпатии, я был способен прочувствовать всю ее боль и ту обреченность в ее пустом взгляде, который навечно замер в одной точке. В этих самых эмоциях по моей щеке медленно покатила слеза, застыв на несколько мгновений над краем губ, соленая, наполненная искренним пониманием, горечью и простым человеческим состраданием, которое было чуждо только тем, кто уже давно вырвал свое сердце из груди. Первый раз в своей жизни я ощутил нестерпимую боль, отравляющую мою душу, словно цианид калия, и разъедающую кислотой разум, словно уксус, первый раз я по-настоящему осознал, насколько мимолетна и коротка может оказаться человеческая жизнь, на которую может повлиять даже простой взмах крыльев бабочки на другом конце земного шара. Той самой одинокой бабочки, в которой разглядеть посланницу милосердного Бога смог даже маленький мальчик, стоящий посреди радужного поля и мечтающий исполнить свое желание с помощью маленькой жестяной коробочки. Той бабочки, которая унесла свое тело далеко за горизонт и погибла в ветрах бушующей от человеческого существования природы, бедной белянки, которая сломала тонкие крылья, почти достигнув облаков, которая ринулась вниз, словно умирающая птица, и разбилась от твердую землю, разлетевшись на мелкие песчинки. Той самой бабочки, жизнь которой была настолько же коротка, насколько коротка и горестно наивна была жизнь этой скромной милой девочки, наверняка, обожающей белые кружевные платья и теплые семейные праздники, чье счастье навсегда разбилось вдребезги, чьи надежды и мечты в миг рассыпались серым пеплом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.